

ПЛАТОН

*ФИЛОСОФИЯ КАК ВЫСШЕЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 1(091)"652"
ББК 87.3(0)
ПЗ7

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с древнегреческого *В. Карпова*

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

Дизайн обложки *В. Воронина*

Платон.

ПЗ7 **Философия как высшее удовольствие / Платон ;**
[перевод с древнегреческого В. Карпова]. — Москва :
Издательство АСТ, 2026. — 544 с. — (Эксклюзивная
классика).

ISBN 978-5-17-183807-2

Платон Афинский — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Именно с Платона философия формируется как система знания.

Что есть благо человека? Что дает ему радость бытия и удовольствие от жизни?

Об этих понятиях рассуждает философ в диалоге «Филеб», отстаивая мнение, что высшее удовольствие человека — философские размышления. Ибо только находя удовольствие в этом, подобно Гегелю, имея вкус к диалектике и любовь к метафизике, можно углубиться в логику «Парменида», понять природу знания в «Теэтете» и «Кратиле», рассуждать о законах в «Миносе», о справедливости в «Клитофоне», «Гиппархе» и «Соперниках».

УДК 1(091)"652"
ББК 87.3(0)

ISBN 978-5-17-183807-2

© ООО «Издательство АСТ», 2026

ПАРМЕНИД

ЛИЦА РАЗГОВАРИВАЮЩИЕ:
КЕФАЛ, АДИМАНТ, АНТИФОН,
ГЛАВКОН, ПИФОДОР, СОКРАТ, ЗЕНОН,
ПАРМЕНИД, АРИСТОТЕЛЬ.

Прибыв с родины, из Клазомен, в Афины, мы встретились на площади с Адимантом и Главконом^[1]; и Адимант, взяв меня за руку, сказал:

— Здравствуй, Кефал^[2], и говори, не нужно ли тебе здесь чего-нибудь, что находится в нашем распоряжении.

— Да я за тем-то и пришел сюда, чтобы просить вас, — был мой ответ.

— Так не угодно ли^[3] объявить свою просьбу, — сказал он.

И я начал:

— Как звали вашего брата одной с вами матери? Я не припомню. Он был еще в детстве, когда я приехал сюда раньше из Клазомен. С той поры протекло уже много времени. Ведь отца, кажется, зовут Перилампом?^[4]

— Конечно, — отвечал он, — а его-то Антифоном. Но к чему этот вопрос?

— Это — мои сограждане, — сказал я, — большие философы; они слышали, что этот Антифон часто ходил к Пифодору, одному из друзей Зенона, и, нередко

слыша от Пифодора беседы, какие некогда вели Сократ, Зенон и Парменид, напоминает их.

— Ты говоришь правду, — промолвил он.

— Так мы желаем переслушать их, — сказал я.

— Это не трудно, — продолжал он. — Антифон в ранней молодости очень много занимался ими, хотя теперь-то, по примеру деда, своего соименника, занимается по большей части верховой ездой^[5]. Если надобно, пойдем к нему; он недавно пошел отсюда домой, а живет он близко, в Мелите^[6].

Сказав это, мы пошли и застали Антифона дома отдававшим слесарю исправить какую-то узду. Когда отпустил он слесаря, братья сказали ему, зачем мы пришли. Антифон узнал меня, не видев со времени первого моего приезда в Афины, и обнял. Мы стали просить пересказать нам те беседы; но он сперва отказывался, — дело, говорит, большое; однако ж потом рассказал.

По словам Антифона, Пифодор говорил, что некогда Зенон и Парменид пришли на великие панафинеи^[7]. Парменид был уже очень стар^[8], совершенно сед, но на вид красив и показен, имел от роду около шестидесяти пяти лет; а Зенон был тогда лет почти сорока, росту высокого и приятной наружности. Про него рассказывали, что он был любимцем^[9] Парменида. Квартировали они, говорил, у Пифодора, в Керамике, что за стеною. Сюда-то пришли и Сократ, и многие другие с ним, кому хотелось послушать сочинения Зенона, которые тогда в первый раз были принесены ими. Сократ был в ту пору очень молод. Зенон сам стал читать^[10] свои сочинения, а Пармениду случилось выйти вон. И оставалось дочитать еще немного из тех книг, — как, по рассказу Пифодора, вошел со

двора и сам он, и с ним Парменид и Аристотель^[11], впоследствии один из «тридцати», так что лишь немногое пришлось им прослушать из написанного; впрочем, сам-то Пифодор уже прежде слушал Зенона.

Прослушав сочинение, Сократ просил снова прочитать первое положение первой книги и, когда оно было прочитано, сказал:

— Как ты говоришь, Зенон? Если существующее есть многое, то оно должно быть вместе — и подобное, и не подобное? Но этого не может быть, ибо ни неподобному нельзя быть подобным, ни подобному — неподобным^[12]. Не так ли ты говоришь?

— Так, — отвечал Зенон.

— Если же невозможно, чтобы неподобное было подобным и подобное — неподобным, то не может быть и многое; ведь если бы было многое, то оно испытывало бы то, что невозможно. Не этого ли хотят твои книги? Не иного чего, то есть, хотят они, как, вопреки всему, что говорится^[13], спорить, что многого нет? И доказательство этого самого представляет у тебя, думаешь, каждая книга; так что, по твоему мнению, предложено у тебя столько доказательств тому, что многого нет, сколько написал ты книг. Так ли ты говоришь или я неправильно понимаю?

— Нет, — сказал Зенон, — ты хорошо уразумел все сочинение, чего оно хочет.

— Я замечаю, Парменид, — продолжал Сократ, — что этот Зенон хочет угодить тебе не только другими знаками дружбы, но и сочинением; потому что он написал в некотором роде то же, что и ты, и только ловким изворотом старается обмануть нас, будто говорит что-то другое. Ты в своих поэмах полагаешь,

что все есть одно, и приводишь на то прекрасные доказательства; а этот утверждает, что существующее не есть многое, и тоже представляет много весьма сильных доказательств. Итак, у одного из вас полагается одно, у другого — не многое, и оба вы выражаетесь так, что, говоря почти то же самое, по-видимому, не высказываете ничего тождественного. Такой способ выражений, кажется, выше наших понятий.

— Да, Сократ, — сказал Зенон, — но истину сочинения ты постиг не вполне, хотя, будто лакедемонский щенок^[14], хорошо преследуешь и ловишь чутьем читаемое. От тебя, во-первых, утаилось, что мое сочинение вовсе не так заносчиво, чтобы задаваться задними мыслями, о которых ты говоришь, как будто бы, то есть, я совершал что-то важное, скрывая это от людей. Затем, ты привел это как побочный вывод, но это и есть настоящая цель моего сочинения — оказать некоторую поддержку положению Парменида против тех, которые решаются смеяться над ним, говоря, что если есть одно, то положению его приходится вынести много и смешного, и противоречивого. Так это сочинение дает отпор тем, которые допускают многое, и воздает им тем же и еще бóльшим, стараясь показать, что гораздо смешнее окажется собственное их положение, будто есть многое, чем положение об одном, если кто будет достаточно последователен. Из такого рода задора я писал еще в молодости; но мое писанье кто-то похитил, так что не было места и вопросу, выпускать ли эти книги в свет или нет. Так вот в чем ошибся ты, Сократ: что мое сочинение, ты думаешь, написано не из юношеского задора, а из честолюбия более зрелых лет. Впрочем, что я в нем говорил-то, ты схватил не худо.

— Я принимаю это, — промолвил Сократ, — и полагаю так, как ты говоришь. Но скажи мне вот что: не думаешь ли ты, что есть некоторый вид подобия сам по себе^{15]}, и есть опять иной, такому виду противный, то есть действительно неподобный? и что этим двум видам причастны и я, и ты, и все прочее, что мы называем многим? И то, что принимает подобие, не делается ли подобным так и настолько, насколько принимает, что неподобие — не подобным, а что то и другое — тем и другим? Да что удивительного, если даже и все принимает эти противности, — ту и другую, и, став причастно обеих, может быть подобным и не подобным само себе? Ведь если бы кто объявил, что само подобное бывает неподобным, или неподобное — подобным, то это было бы, думаю, чудовищно: напротив, если бы захотел кто утверждать, что вещи, причастные обеих этих крайностей, принимают свойства той и другой, то, мне кажется, Зенон, тут не было бы ничего странного, — как и в том-то, если бы кто сказал, что все есть одно чрез причастность одному, и то же самое есть опять многое чрез причастность множеству. Но как скоро начнут доказывать, что одно само в себе — это именно есть многое, и, наоборот, многое — одно, то я уже удивлюсь. То же самое и в отношении прочего: если, то есть, объявляют, что самые роды и виды заключают в себе эти противные свойства, этому можно удивиться. А когда будет кто доказывать, что я, напр., вместе и одно, и многое, — что тут удивительного? В этом случае, желая выставить многое, он сказал бы, что я представляю иное с правой стороны и иное с левой, иное спереди и иное сзади, иное также сверху и иное снизу, — ибо я причастен, думаю, множества; а выставляя одно, скажет,

что между нами семерыми, как человек, я — один, — ибо причастен и одного; так что справедливо скажет и то и другое. Итак, кто пытался бы такого рода предметы представлять как одно и многое, — камни, деревá и прочее, — тот, мы скажем, доказывал бы многое и одно, — но не одно как многое, и не многое как одно, — не что-нибудь удивительное утверждал бы он, а то, в чем все мы можем соглашаться. Но если бы он, как говорил я сейчас, взял, во-первых, виды особо сами по себе^[16], — как то: подобие и неподобие, множество и единство, стояние и движение и все такое, — потом объявил бы, что они могут между собою смешиваться и разделяться; то я, говорит, чрезвычайно обрадовался бы, Зенон. Твоя мысль, я нахожу, обработана весьма стойко; но этой, полагаю, обрадовался бы я более: если бы кто то же самое недоумение — как вы усматриваете его завитым в вещах видимых — мог показать и в тех, которые подлежат рассудку, различным образом завитое в самых видах^[17].

Пифодор, по его словам, думал, что, когда Сократ говорил это, Парменид и Зенон при каждой мысли должны были питать досаду; а они очень внимательно слушали его и, часто взглядывая друг на друга, улыбались с выражением удивления Сократу. И вот, как только прекратил он свою речь, Парменид сказал:

— Сократ, твоя ревность к исследованиям достойна удивления. Но скажи мне: сам ли ты так различил, как говоришь, особо — некоторые виды сами в себе, и особо — то, что им причастно?^[18] и кажется ли тебе само подобие чем-нибудь отдельным от того, которое есть у нас, равно как одно, многое и все; про что теперь слышал ты от Зенона?

— Кажется, — отвечал Сократ.

— И ты принимаешь, — спросил Парменид, — особый некоторый вид для таких явлений, как справедливое, прекрасное, доброе и все такое?

— Да, — сказал он.

— Что же? И вид человека, особый от нас и от всего такого, каковы мы^[19], — то есть некоторый самобытный вид человека, или огня, или воды?

— Касательно этих предметов, Парменид, — отвечал Сократ, — часто был я в недоумении, должно ли полагать о них то же, что о других, или иное.

— Не недоумеваешь ли ты и в отношении таких вещей, Сократ, — для них оно было бы и смешно, — каковы, например, волос, грязь, нечистота или что-либо иное, самое презренное и ничтожное: должно ли и для каждой из них полагать особый вид, отличный от того, что берем мы руками, или не должно?

— Никак, — отвечал Сократ, — в этих-то, что мы видим, то одно и есть: представлять еще некоторый вид таких вещей как бы не было слишком странно. Меня, впрочем, уже беспокоит иногда мысль, не вышло бы того же и со всем другим: но если остановлюсь на этом, я готов потом бежать из страха, как бы не провалиться и не погибнуть в какой-то бездонной болтовне. И вот, пришедши мышлением сюда, — к тем видам, о которых теперь только говорили, — я рассуждаю о них испытательно.

— Потому что ты еще молод, Сократ, — сказал Парменид, — и философия^[20] пока не охватила тебя, как охватит, по моему мнению, когда не будешь пренебрегать ничем этим. Теперь ты, по своему возрасту, смотришь еще на человеческие мнения. Скажи-ка мне вот что: тебе кажется, говоришь, что есть некоторые виды, от которых прочие вещи, по участию в них,

получают свои названия; причастная, например, подобно становится подобною, величине — великою, красоте и справедливости — справедливою и прекрасною.

— Конечно, — сказал Сократ.

— Но каждая, воспринимающая вид, весь ли его воспринимает или часть? или восприятие возможно еще иное, помимо этого?

— Но какое же? — сказал он.

— Так думаешь ли, что весь вид, составляя одно, содержится в каждой из многих вещей, — или как?

— Да что же препятствует, Парменид, содержаться ему? — отвечал Сократ.

— Следовательно, будучи одним и тем же самым — во многих вещах, существующих особо, он будет содержаться во всех всецело и таким образом обособится сам от себя.

— Не обособится, — возразил Сократ, — как, например, день, будучи одним и тем же, в одно и то же время находится во многих местах, и оттого несколько не отделяется сам от себя; так, может быть, и каждый из видов содержится во всем, как один и тот же.

— Куда любезен ты, Сократ, — сказал Парменид, — что одно и то же полагаешь во многих местах, — все равно как если бы, закрыв завесою многих людей, говорил, что одно находится на многих всецело. Или не это, думаешь, выражают твои слова?

— Может быть, — отвечал он.

— Так вся ли завеса была бы на каждом, или части ее — по одной?

— Части.

— Стало быть, и самые виды делимы, Сократ, — сказал Парменид, — и причастное им должно быть

причастно частей, и в каждой вещи будет уже не целый вид, а всегда часть^[21].

— Представляется, конечно, так.

— Что же? захочешь ли утверждать, Сократ, что вид как одно у нас действительно делится и, делясь, все-таки будет одно?

— Отнюдь нет, — отвечал он.

— Смотри-ка, — продолжал Парменид, — если ты будешь делить самую великость, и каждый из многих больших предметов окажется велик ее частью, которая меньше самой великости, — не представится ли это несообразным?

— Конечно, — сказал он.

— Что же? каждая вещь, получив какую-нибудь часть равного, — которая меньше в сравнении с самым равным, — будет ли заключать в себе нечто, чем сравняется с какою-либо вещью?

— Невозможно.

— Но положим, кто-либо из нас примет часть малости: сама малость будет больше ее, так как это ее часть. И тогда как сама малость окажется больше, то, к чему приложится отнятое, станет, напротив, меньше, а не больше, чем прежде.

— И этого-то быть не должно, — сказал Сократ^[22].

— Каким же образом, Сократ, — спросил Парменид, — все прочее будет причастно у тебя видов, когда не может принимать их ни по частям, ни целыми?

— Клянусь Зевсом! — отвечал Сократ. — Такое дело, мне кажется, вовсе не легко решить.

— Что же теперь? Как ты думаешь вот о чем?

— О чем?

— Я полагаю, что ты каждый вид считаешь одним по следующей причине. Когда покажется тебе много

каких-нибудь величин, ты, смотря на все их, представляешь, может быть, одну какую-то идею, и отсюда великое считаешь одним^[23].

— Это правда, — сказал он.

— А что́ само великое с прочими величинами? Если таким же образом взглянешь душою на все, не представится ли опять одно великое, чрез которое по необходимости все это является великим?

— Вероятно.

— Стало быть, тут представится иной вид великости, происшедший независимо от самой великости и от того, что́ причастно ей, а над этими всеми — опять другой, по которому выйдут велики эти, — и каждый из видов уже не будет у тебя один, но откроется их бесконечное множество.

— Но каждый из видов, Парменид, — заметил Сократ, — не есть ли мысль?^[24] А мысли негде больше быть, как в душах: так-то каждый остался бы, конечно, одним и не подвергался бы уже тому, о чем сейчас было говорено.

— Так что же? — спросил Парменид, — каждая мысль будет одно, но мысль — ни о чем?

— Но это невозможно, — отвечал он.

— Значит, о чем-нибудь?

— Да.

— Существующем или несуществующем?

— Существующем. Не об одном ли чем, что́ мыслится как присущее всему и представляет одну некоторую идею?^[25]

— Да.

— Так не вид ли будет это мыслимое одно, всегда тождественное во всем?

— Является необходимым.

— Что же теперь? — спросил Парменид, — если все прочие вещи причастны, говоришь, видов; то не необходимо ли тебе думать, что либо каждая вещь относится к мыслям и все мыслит, либо относящееся к мыслям несмысленно?

— Но и это не имело бы смысла, — отвечал он. — Впрочем, мне-то, Парменид, скорее всего представляется так: эти виды стоят в природе как бы образцы, а прочие вещи подходят к ним и становятся подобиями^[26]; так что самая причастность их видам есть не иное что, как уподобление им.

— Но когда что подошло к виду, — сказал Парменид, — может ли тот вид не быть подобным уподобившемуся, насколько что ему уподобилось? Или есть какая-нибудь возможность подобному не быть подобным подобному?

— Нет.

— Но подобному с подобным не крайне ли необходимо быть причастным одного и того же вида?

— Необходимо.

— А то, чего причащаясь, подобное становится подобным, — не будет ли это именно тот вид?

— Без сомнения.

— Следовательно, невозможно, чтобы нечто уподоблялось виду, вид же уподоблялся иной вещи; а не то^[27], — помимо вида всегда явится иной вид, и если этот будет подобен чему-нибудь, — опять иной, и никогда не перестанет представляться новый вид, как скоро вид становится подобным тому, что причастно^[28] его.

— Ты говоришь весьма справедливо.

— Стало быть, вещи делаются причастными видов не подобием: надобно искать чего-нибудь иного, чем условливается эта причастность их.

— Вероятно.

— Так видишь ли, Сократ, — сказал Парменид, — сколько возникает затруднений, когда кто допускает бытие видов как бы самих по себе?

— И очень.

— Знай же хорошо, — продолжал он, — что до сих пор ты, просто сказать, и не подозреваешь, как велика в этом случае трудность, если что-либо из вещей существующих, постоянно их разграничивая, будешь полагать как один^[29] вид.

— Как это? — спросил Сократ.

— Тут много и другого, — сказал Парменид, — но самое важное вот что. Если бы кто сказал, что такие виды, какими они, говорим, должны быть, даже не доступны и для познания; то говорящему это никто не мог бы доказать, что он лжет, — кроме того случая, если возражающий против такого положения окажется человеком обширной опытности и хороших дарований и будет расположен следовать за многими и издалека взятыми в пользу положения доказательствами; иначе настаивающий, что виды не подлежат познанию, был бы непобедим.

— Почему же, Парменид? — спросил Сократ.

— Потому, Сократ, что и ты, и другой, полагающий бытие некоторой самой по себе сущности каждого явления, прежде всего допустит, думаю, что у нас нет^[30] ни одной из них.

— Иначе как же была бы она сама по себе? — спросил Сократ.

— Хорошо сказано, — продолжал он. — Значит, все, какие есть, идеи, находясь во взаимном отношении, имеют сущность сами для себя, а не для тех, что у нас, подобий^[31], — или как иначе назовут их, — которым,

будучи их причастны, мы придаем отдельные имена. Находящиеся же у нас, будучи одноименны с теми, существуют опять сами для себя, а не для видов, и относятся к себе, а не к тем видам, которые одинаково с ними наименованы.

— Как ты говоришь? — спросил Сократ.

— Положим, например, — сказал Парменид, — кто-нибудь из нас — господин или слуга: слуга есть слуга не самого по себе господина, — как мы разуме-ем господина, — и господин есть господин не самого слуги, — как разумеем слугу, — но оба они — в отношениях человека к человеку; самое же господство есть то, что есть, в отношении к самому же рабству, как и самое рабство — к самому господству^[32]. Так ни то, что у нас, не имеет значения по отношению к тем, ни те — к нам; но те, говоря, относятся сами к себе и существуют для себя, а находящееся у нас, подобным же образом, — для себя. Или ты не понимаешь моих слов?

— Очень понимаю, — отвечал Сократ.

— Поэтому и знание, — продолжал Парменид, — само знание, как оно есть, должно быть знанием самой той истины, как она есть.

— Конечно.

— И каждое частное опять знание, как оно есть, должно быть знанием каждой существенности, как она есть^[33]. Или нет?

— Да.

— А знание, что у нас, не относится ли и к истине той, что у нас? И каждому опять знанию у нас не приходится ли быть знанием каждой существенности у нас?

— Необходимо.